

# Сцепщик

Александр Серафимович

*(Избранные произведения, Москва 1976.  
Копия 14 января 2005 г. — не проверена.)*

## I

Макар высунул голову из своего вагона, в котором жил с семьей и летом и зимой.

Солнце еще не успело подняться и стояло низко над вагонами и земляниками. Сизые тени наполняли воздух, и дымка окутывала просыпающуюся землю. Начиналось весеннее утро, свежее и ясное.

Макар несколько раз глубоко втянул в себя воздух. В вагоне «шибало духом» и пахло «человечиной». Это оттого, что он был товарный, тесный, темный, без окон, а народу в нем было много. Пятеро ребят-шек, разметавшись разгоряченными грязными телами, лежали на полу, прикрытые тряпьем, которое было когда-то одеялами. Тут же спали — жена Макара, отец и теща.

Макар опять спрятал в вагон голову, на четвереньках перелез через спящих детей, вытащил из-под изголовья свои сапоги и портянки и стал обуваться. Как раз впору идти на дежурство.

Жена Макарова тоже поднялась с заспанным, измятым, покрытым рубцами и красными от жесткой подушки лицом, вышла и стала возить-ся около печки, разводя огонь. Макар плеснул себе водицы в лицо, вытерся подолом рубахи, покрестился, торопливо кланяясь, на рдевший восток и, захватив флажок, свисток и краюху хлеба за пазуху, отправился на станцию.

Станция издали краснела кирпичными неоштукатуренными зданиями. Поселок, приютившийся у станции, весь дымился выбеленными трубами. Слева раскинулась степь, могучая, открытая, слегка волнистая. Пройдет две-три недели — и она станет унылым, бурым, выгоревшим, спаленным солнцем пространством. Зато теперь, насколько только хватал глаз, это был зеленый простор, яркий и свежий. Местами, ярко вы-

деляясь, краснели полосы тюльпанов. Как по нитке, уходили вдаль рельсы, телеграфные столбы и, уменьшаясь, продали вдали. Далеко-далеко, на самом гребне, желтея, поворачивало железнодорожное полотно, и телеграфные столбы казались там тонкими черточками.

Мимо пробежал табун лошадей. Вдали маячили кибитки калмыков. Макар остановился.

— Эка благодать божья!

Он снял картуз и провел жесткой рукой по лысине. В траве, в воздухе, над полотном, в телеграфных проволоках стояли неопределенные звуки, которых никогда не знает городской житель. Впрочем, еще не было ни кузнечиков, ни жучков, и в то же время степь звучала. Это была песнь весны, неслышная, неуловимая.

Над одним из станционных зданий вырывался и за клубился белый пар, — и грубый, резкий, настойчивый и упорный гудок зазвучал, нарушая весеннюю мелодию, и далеко-далеко понесся над зеленым простором.

Шесть часов.

Макар поспешно зашагал к станции. Над полотном там и сям курились белым паром паровозы. На последней стрелке громыхая, уходил утренний поезд. Вот и дежурный маневренный паровоз номер семьсот тринадцатый: угрюмая, черная, тяжелая, неповоротливая машина, вечно хмурая и неопрятная, — нефть грязными полосами постоянно стекает по ее бокам, — но зато необыкновенно сильная. Макар подошел вплотную, взялся за ручки и поднялся на площадку. Номер семьсот тринадцатый оглушительно шипел, так что приходилось кричать, чтобы слышали.

— Карле Иванычо мое почтение!

Машинист, хмурый немец, проговорил, не протягивая своей черной, пропитанной нефтью руки:

— Бувайт здоров, Макар!

Немец, казалось, и сам был насквозь пропитан нефтью. Макар поздоровался с помощником, молоденьким, безусым восемнадцатилетним парнем. От форсунки несло нестерпимым жаром. Лица у машиниста и помощника были потны.

— Тепло тут у вас.

— Тепло, куда теплее. Форсунка все балует, — проговорил помощник, и как бы в подтверждение его слов из форсунки вырвался сноп пламени с удушливыми газами.

— Ну, Карла Иваныч, теперя к деле валяйте, заберем вагоны, надо десятичасовой составлять.

Карл Иваныч взялся за регулятор и повернул рычаг. Номер семьсот тринадцатый разом смолк и, производя странное впечатление наступившей тишиной после нестерпимого шипения и надавливая на рельсы всем

своим огромным корпусом, тихонько тронулся задним ходом. Из черной трубы с металлическим вздохом, точно взрыв, вырвался клуб белого пара. Мимо пошли вагоны, полотно. Макар торопливо соскочил с подножки, обогнал паровоз и перевел стрелку. Паровоз перешел на другой путь и направился к депо, а Макар на ходу, как обезьяна, уцепился за подножку и, повиснув на одной руке, в другой держа флажок, глядел, как приближались вагоны, стоявшие у депо.

Со скрежетом и звоном ударился паровоз буферами в ближайший вагон. Макар соскочил, посвистел, — паровоз убавил ходу, — затем он торопливо пролез головой под буферами и, идя между катившимися вагонами, накинул цепи, крюк и стал его свинчивать, чтобы стянуть. Вагоны тихо катились, все наталкиваясь один на другой и звеня буферами. Если Макар споткнется, зацепится ногой, сделает неловкое движение, — его сейчас же повалит и мгновенно перережет десятками пар колес, которые, тихо и грозно поворачиваясь, вдавливали шпалы в песок. Но Макар меньше всего думал об этом. Он шел между вагонами и думал, что, кроме этих десяти вагонов, надо добавить еще семнадцать балластных, что надо не забыть завести в депо два «больных» вагона, которые стоят на запасном пути, что надо получить семь копеек долгу со стрелочника Ивана, что сапоги у него давно прохудились, неловко ходить, полны песку.

Макар опять торопливо выбрался из-под вагонов и свистнул. Паровоз остановился,дохнул, крюки натянулись, и вагоны, скрипя железом, один за другим пошли в обратную сторону. Макар на ходу уцепился за задний вагон.

Началась обычная ежедневная работа: стрелки, буфера, крюки, цепи, звон металлических частей вагонов, свистки, нестерпимое шипение и тяжелое дыхание паровозов, песок, которым усыпано полотно и из которого с трудом вытаскиваешь ноги, и к концу дежурства усталость, усталость нечеловеческая, одуряющая, — вот все, что будет заполнять собою его двадцатичетырехчасовое дежурство. И это тянется уже десять лет, в течение которых он служит на железной дороге.

Для постороннего, свежего человека эта непрерывная, без отдыха, двадцатичетырехчасовая работа кажется чем-то чудовищным, противоестественным. Ведь есть же день и ночь — день для работы, ночь для отдыха, и строго караются те, кто нарушает основное правило об отдыхе и работе. Но Макар спорил: десять лет, как он изо дня в день нарушал эту заповедь, работая по двадцать четыре часа подряд. Правда, следующие двадцать четыре часа ему давали на отдых, но страшное напряжение в течение суток не возмещалось и этим отдыхом. И уже наказание отпечатлелось на нем: еще не старый человек, он весь был в морщинах,

согнулся, щеки ввалились и руки дрожали. На рассвете же, к концу его дежурства, в нем трудно было признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения.

Впрочем, Макар об этом не думал, не задавался такими вопросами; он просто в шесть часов становился на дежурство, потом к концу двадцати четырех часов делался идиотом, потом, дотащившись до своего смрадного, тесного, темного, а зимою и холодного вагона, падал как сноп и засыпал тяжелым сном; потом просыпался и, если были деньги, напиивался пьян, если же их не было, садился чинить себе сапоги, ребятишкам и жене башмаки. Все это он проделывал потому, что у него было пятеро ребятишек, жена, отец и теща, и все они, к его глубокому прискорбию, ели аккуратно каждый день.

Свою семью, ребятишек он любил по-своему. Если бы кого-нибудь из его ребят задавило вагоном или искалечило, он извелся бы от горя, а тому, что они хирели от плохой пищи, нищеты и тяжелой обстановки, он не придавал значения.

Пил Макар потому, что это была его единственная улада. Кругом была степь, на много верст безлюдная, и изредка лишь попадались казачьи хутора. Но он дальше своего железнодорожного полотна нигде не бывал. Возле раскинулся небольшой поселок. В конце его стояла покривившаяся землянка, где Семеныч тайно торговал водкой и принимал в заклад носильное платье и куда Макар нередко заглядывал.

## II

— Номер триста двадцать шестой, триста сорок девятый. . .

— Есть.

— Пятьсот восемьдесят первый, сто седьмой. . . — монотонным, привычным голосом читал составитель поездов по бумаге, которую ему выдали в конторе, номера вагонов, которые он должен был включить в поезд.

— Есть, есть, — отвечал Макар, загибая на заскорузлой руке пальцы.

— Двести одиннадцатый. . . У Емельяна вчера здорово дрызнули. . .

— Есть. . . Здорово? Небось четверть сожрали?

— Девяносто пятый, да на карьер под песок две платформы. . . Четверть! Четверть и не пошла. Опосля я две бутылки да Миколай две.

— Платформы-то я в хвост поставил. . . Миколка здоровый пить, в складчину с ним нельзя: не оглянешься, а водки уже нет.

— Да пусть на второй путь отцепят, чтоб грузить сейчас. . . У Миколки-то, ушли мы, водка загорелась. Бабы прибежали, сказывали, конскими навозом с водой отпаивали, не знаю, отошел ли, нет ли.

— Сумлеваюсь я только, кабы девяносто пятый дорогой не заболел, не надежен. . . А что бабы, так оно как бабье царство есть, так и останется. У человека водка внутри загорелась, а они его навозом. Мыслимое ли дело! Первое средство, ежели у тебя внутри загорелась водка, купи бутылку, как ни мога скорей, выпей, тут же тебе и зальет все.

Макар сосредоточенно посмотрел на вагон, потом себе на сапоги и похлопал их флажком.

— А надясь у меня загорелось, денег не было, сбегал к Семенычу, сапоги новы продал, — ну, значит, и утушил. Как выпил еще бутылку, она замлела, а то бы помереть мог.

Макар разочарованно поворачивал свою ногу, на которой, как зубы, выглядывали грязные пальцы сквозь дыры сапога.

— Эти совсем прохудились.

— Часто она у тебя горит что-то. Гляди, кабы тебе совсем не прогореть.

— Не, это, без шуток, первое средство. . .

— Ну, айда! Слышь, зовут.

Паровоз действительно давно и настойчиво свистел. Макар торопливо пробежал к дальним вагонам, начиная уже с усилием вытаскивать из песка ноги. Тени от домиков, от вагонов, от телеграфных столбов стали короткими, солнце подымалось все выше и жгло, воздух струился.

Кругом все то же: полотно, усыпанное песком, рельсы, шпалы, стрелки, семафоры и вагоны, вагоны без конца.

И опять бегают по песку Макар, пролезает под буферами, цепляет крюки, машет флажком, посвистывает, переводит стрелки. Отщипывает по кусочку хлеб и запикивает на бегу в рот, — хочется поесть, и некогда присесть, а до вечера еще далеко, и впереди долгая-долгая ночь.

### III

Служащие на железной дороге распадаются на белую кость и черную. К первым принадлежат машинисты, помощники их, механики, вообще искусные рабочие, ко вторым — стрелочники, сцепщики, сторожа, составители. Первые зарабатывают шестьдесят, восемьдесят и даже до ста рублей в месяц, вторые получают от восьми до двадцати пяти рублей. С первым начальники станции и всякое другое железнодорожное начальство обращаются не то что по-человечески, но все же терпимо;

вторых всячески заушают, не считая за людей. И Макар по отношению ко всем чувствовал себя так, как вообще чувствуют себя «Макары», на которых валятся все шишки. Всякого начальства он боялся как огня. Но жить постоянно в страхе, всегда сознавать себя меньше и ниже других — для человека невозможно. Он всегда ищет тех, кто стоит еще ниже его, над кем он может проявить свою власть. Макар тоже искал этого, но не находил, и только когда возвращался домой, чувствовал себя господином: кричал на жену, под пьяную руку и бивал и награждал ребятишек колотушками.

С машинистами, с которыми приходилось работать, Макар обращался заискивающе; они же, всегда угрюмые, смотрели на него свысока. Вот и теперь он подошел к неистово шипевшему номеру семьсот тринадцатому и проговорил заискивающе:

— Скоро, Карла Иваныч, воду брать пойдете?

Дело-то в том, что, когда дежурный паровоз брал воду, сцепщик мог эти несколько минут отдохнуть, и Макар давно ждал этого момента. Но Карл Иванович сердито пробурчал:

— Когда пойдем, тогда, и будем брать.

И опять стал бегать Макар от вагона к вагону.

Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по земле. Странно долго тянется время при такой работе, а когда оглянешься, не заметишь, как и день прошел.

Карл Иванович, наконец, пошел брать воду. Макар влез на площадку вагона, достал краюху хлеба, ржавую «душистую» тарань и стал закусывать, обгладывая все до последней косточки. Теперь он позабыл и работу, и дежурство, и всю окружающую обстановку и исключительно был занят своей таранью, с которой меланхолически вел разговоры, поглядывая на следы, которые оставляли на ней его зубы.

— Ишь ты ведь какая... просолела вся, а пахнешь. А што ж это, правильно, што ли? Уж ежели соль, то она должна все выисть, то ись, значит, всякую дрянь, и пахнуть тебе, значит, незачем. А то на какой же ляд тебя солить, провялили бы так, и делу конец.

И Макар опять вопросительно поднес к носу таранью голову и потянул носом, но тарань все-таки пахла.

— Нет, без всякого разумения рыба, прямо сказать, ледащая рыба, — и он, безнадежно махнув рукою, с треском разгрыз таранью голову.

Вдали засвистел паровоз.

— Ну, напился, жеребец.

Макар подобрал крошки, вытер усы, покрестился несколько раз, надел шапку и побежал к паровозу. Тяжело было бежать, впереди еще двенадцать часов...

## IV

Стало смеркаться. Видит Макар: из депо вышел один паровоз; за ним, немного погодя, другой, — остановились. Машет на переднем паровозе что-то Макару машинист, но Макар не обращает внимания — со своим делом еле управляется.

Смотрит, опять машет машинист и кричит:

— Ты что же, оглох, что ли? Докудова дожидать-то будем?

— Чего надуть?

— А того надуть — паровозы сцепи, просить тебя. . .

— Чего пристали? Старший стрелочник-то на что? Мне, что ль, за этим смотреть? Своего дела не оберешься, а тут еще чужое суют.

Макар уцепился за тронувшийся свой паровоз; надо было «больные» вагоны из поезда выключать.

А машинист все ругается, грозит жаловаться начальнику. Видно, как он слез с паровоза и пошел к станции, на платформе подошел к дежурному по станции помощнику начальника и стал говорить ему что-то. Минуты через две кликнули Макара. Макар торопливо прошел на платформу к дежурному по станции и снял шапку.

— Ты что же это паровозы не сцепил?

— У меня свое дело было, выключаем «больные» вагоны. А из депо завсегда старший стрелочник выводит, он и сцепку делает. Вы ничего не изволили приказать, я и не знал. . .

— А-а, не знал!

Помощник начальника размахнулся и. . . бац! Кулак у него был большой, костлявый и волосатый. Голова Макара сильно мотнулась в сторону, лицо смертельно побледнело и обезобразилось, под глазом разбитое место налилось кровью и посинело. Дежурный круто повернулся и ушел. По платформе ходили жандармы, кондуктора. Все делали вид, что ничего не замечают.

Макар мял шапку, растерянно глядя кругом себя помутневшим взором, постоял и потом тихонько пошел, забывая надеть шапку, к своему паровозу: дело не ждало.

Снова надо было бегать по песку, пролазить под вагоны, сцепливать, давать сигналы свистком, флагом, и Макар все это делал, и казалось — ничто кругом не изменилось, но почему же эта едкая горечь и боль томят душу? Что особенного случилось? И разве у Макара по-прежнему не было пятерых детей, жены, тещи и отца, которые аккуратно ели каждый день? А раз это остается по-прежнему, значит, и все остальное по-прежнему, значит, ничего не случилось, значит, надо бегать от вагона к вагону так, как бегал третьего дня, как бегал все эти десять лет.

И он продолжал бегать.

Приходили и уходили поезда, станционная платформа оживлялась и пустела, наступила ночь. В темноте труднее и опаснее работать. Раза два Макара едва не защемило между сдвинувшимися буферами. Часам к двенадцати стал размаривать сон. Глаза слипаются, походка стала неверной; спотыкнешься или зацепишься — и конец. И борется с собой Макара, борется с дремотой, — дело ведь не шуточное, жить каждому хочется. Но чем ближе подходил рассвет, тем мучительнее становилось работать; предутренний конец дежурства — самое тяжелое время. Стал цепляться Макара за рельсы, за шпалы, колени подгибаются, толкается о вагоны, в голове шумит, с трудом и звуки стал разбирать; иной раз свистнет паровоз, и не знает Макара, свисток это или так показалось ему. И все, что кругом делалось, казалось Макару смутным и неясным, точно это был сон, и давило его что-то, и хотел он проснуться, и не мог.

Видит Макара — не совладать ему с собой, все равно упадет где-нибудь или повалит его вагоном и зарежет. Чтобы дотянуть несколько часов до конца дежурства, неизбежно приходилось прибегать к возбудителю, и Макара, улучив минуту, поплелся в буфет. Плеская водку дрожащей рукой, он опрокинул одну рюмку, другую. И тогда разом кругом посветлело, предметы стали выпуклее и резче бросались в глаза.

— Никак, ноне съел, Макара? — проговорил, прожевывая, один из кондукторов.

И вдруг где-то сидевшая в глубине горечь, едкое чувство обиды и поправленного человеческого достоинства, задетые неосторожным вопросом, прорвались нестерпимой болью.

— Да што ж ты думаешь, он имеет полное право бить, значит, по морде? Кто такие права ему давал? Таких прав нет! А ежели я да не стерплю? А? Нет, ты скажи, ежели не стерплю я? А? Ежели я да протокол составлю да в суд подам? А?

— Не подашь, — спокойно догрызая рыбий хвост, проговорил кондуктор.

Это подлило масла в огонь. Макара вспыхнул.

— Не подам? Не подам? Нет, подам! Потому прав таких нет, чтоб морду бить людям. Что ж я — не человек, скотина, што ли? Собаку ткнут сапогом, и та визжит, а почему я должен молчать? Жандарм, прошу составить протокол. Протокол прошу составить, насчет бою, то ись, значит, в морду дал дежурный по станции и разбил глаз.

— Ну, будет, Макара! — проговорил старший жандарм, подходил к нему и фамильярно кладя руку на плечо. — Ну, что толку? Составить протокол, тебя же зараз и выгонят. Полиял, что ли, ты от *этого*? А что насчет глазу, так это один пустяк: возьми свинцовой примочки на

пяточек, завтра к обеду ничего не будет. Да я и протокол составлять не буду.

Макар было уже согласился с доводами жандарма, но последние слова взорвали его.

— Как, протокол не составите?! Что это за порядки! Господа, будьте свидетели, господин жандарм не хочет протокола составить, что мне морду избili.

Жандарм поморщился.

— Ну, ступай в дежурную. На свою голову составляешь.

Протокол был составлен.

Опять бегаёт Макар, трубит в рожок, накидывает вагонные крюки, и хотя с трудом вытаскивает вязнувшие в песке ноги, но кажется ему, что ноги стали длиннее, выросли и шагали широко и уверенно. И кругом стало веселей и просторней, весело накатываются и звенят буферами вагоны, весело посвистывает где-то далеко впереди паровоз. Та горечь, поющая боль, что сверлила где-то в глубине души, пропала, и пропала она в тот самый момент, как он своей заскорузлой, черной от нефти и грязи, дрожавшей от усталости рукой вывел каракулями под протоколом: Макар Чушкин.

Уже посерело небо, уже в редевшем сумраке стали выступать невидные дотоле дальние вагоны, станционные здания, депо, столбы телеграфные, водокачка.

— Ма-ка-а-а-р! — пронеслось в утреннем воздухе.

Макар приостановился:

«Никак, кличут?»

— Ма-ка-а-а-р! . . . — донеслось опять с платформы и потерялось между станционными зданиями, между вагонам, которые были теперь все видны как на ладони.

Макар бегом направился к станции.

— Иди, начальник кличет.

Держа шапку в руках, он робко вошел в комнату начальника. Тут же был и дежурный по станции.

— Ты протокол составил?

— Я ваше благор. . . это я, значит, так. . . для примеру только. . . я его сейчас же порву, ваше благородие. . . — проговорил Макар, заикаясь, бледный как полотно.

— Вон! Завтра получишь расчет.

Макар стоял как громом пораженный.

— Тебе говорят, сейчас же вон!

И начальник взял его за плечи, повернул и вытолкнул из комнаты.

Макар ничего не видел, не слышал, не соображал. Он механически перешел через полотно и огляделся помутившимся взором.

Солнышко взошло и стояло высоко над землей, утренние тени тянулись от вагонов, столбов, землянок, станционных зданий.

Как и вчера, зеленел могучий степной простор, синела даль, и звучала радостная, неслышная песнь весны. Вдали маячили кибитки калмыков, и по степи гнали табун лошадей. Над полотном в разных местах белым паром курились паровозы. Все было по-старому, но Макару казалось, что он идет среди развалин и кругом лежат груды обломков.

Над депо белой струей вырвался пар, и гудок далеко зазвучал по степи. Это теперь Макар покончил бы дежурство и отправился бы к себе домой.

А разве теперь он идет не домой?

Макар постоял с минуту на одном месте и пошел... к Семенычу...

## V

Через полчаса он вышел оттуда, качаясь во все стороны, точно на палубе во время шторма; порванных сапог на ногах у него уже не было. И он направился к своему вагону, рассуждая сам с собой пьяным голосом:

— Почему? В каком смысле? Морда, например... значит, чтоб бить ее... Ты што такое? Сопля, тьфу! Растер — и нет ничего. И прр-равильно! На то начальник. А ты слухай его и производи, какие распоряжения от него есть, и не думай о себе много. Што такое, съездил раз? Это даже за честь почитай, потому что они — начальники тебе, то ись замест отца, стало быть. Тебя в морду, а ты кланяйся ниже, благодари, потому для тебя же, дурака, для твоей же пользы...

Хозяйка увидела издали Макара.

— Пьяный! Головушка ты моя бедная! Ребятишки, бегите отсюда! Вишь, руками размахивает, кабы драться не стал.

Макар, качаясь из стороны в сторону, точно его валило то туда, то сюда, босой, подошел и бессильно опустился на стоявший возле ящик с углем.

Хозяйка глянула ему на ноги и так и всплеснула руками.

— И сапоги пропил! Окаянная ты сила! С ума ты сошел, что ли? Вымотал ты душу мою грешную, кровопивец, губитель ты, изверг ты наш несчастный! И наказал же господь каторгой! У людей мужики как мужики: ну, не без того, и выпьют когда, да не тянут же из дому, а этот, что под руку ни попадетя, все в кабак.

К удивлению, Макар не только не бросился на нее бить за это, а заплетаящимся, коснеющим языком подозвал оробевших детишек и, обдавая их запахом перегорелой сивухи, стал гладить по белокурым головкам заскорузлой, грязной, в нефти, рукой.

— Соколятки мои, поросяточки! Ни... ничего, привыкайте, набалованы, каждый день ели... теперь привыкайте, штоб, значит, с предыдущей, потому каждый день нам исть никак нельзя, не полагается, не туда рылом вышли... Н... ничего, попоститесь, ан привыкнете... До всего можно дойти, значит, своим умом... Ежели человек умный, то он может исть через день там, скажем, али через два, потому человек — создание божие, все он превзошел... Милые мои соколяточки... Глазеночки-то лупают, ничего не понимают, — и Макар ронял пьяные слезы на лица притихших ребятишек.

Хозяйка стояла как онемелая; она не знала, что случилось, но в словах мужа слышалось что-то грозное и неумолимое. Одно знала хозяйка: некуда обратиться, некому заступиться.